

СОДЕРЖАНИЕ

Евгений Гонтмахер. Предисловие. 5

Кирилл Рогов. Введение: драма ожиданий / драма
пониманий: тридцать лет транзита и споров о нем . . . 8

Часть 1. Драма ожиданий: деконструкция пессимизма

Иван Крастев. Тернии «нормальности»: конец эпохи имитации 46

Андрей Мельвилъ. Пять несбывшихся надежд: политические и теоретические ожидания «эпохи-1989» 66

Георгий Сатаров. Драма транзита как источник его переосмысления 93

Владимир Гельман. Возвращение акторов: динамика политических режимов и ее интерпретации 116

Дэниэл Трейсман. «Догнать капитализм»: что получилось и не получилось за тридцать лет посткоммунизма. 151

Часть 2. Траектории посткоммунизма

Андрей Рябов. Союз разделенных: политические трансформации в странах бывшего СССР и Восточной Европы. 166

Кирилл Рогов. Генезис и эволюции постсоветских политий 192

Балинт Мадьяр, Балинт Мадлович. Евразийская перспектива: типология посткоммунистических траекторий 232

Часть 3. Homo soveticus — homo post-soveticus

Лев Гудков. «Советский человек» сквозь все режимы:
тридцать лет исследовательского проекта 268

Сэмюэл А. Грин. «Человек постсоветский»:
транзит и паттерны «гражданственности» 298

Владимир Магун, Максим Руднев. За пределами
«человека советского»: россияне в европейской
ценностной типологии 325

Евгений Гонтмахер. Поколенческий сдвиг
и уроки постсоветского тридцатилетия 354

Часть 4. Непредвиденное прошлое

Дмитрий Травин. Перестройка «перестройки»:
три этапа непреднамеренной эволюции 368

Генри Хейл. Дизайн советского этнофедерализма,
его последствия и долгое эхо 390

Николай Митрохин. Титульный национализм:
советское наследие в строительстве постсоветских
национальных государств 415

Кирилл Рогов

ВВЕДЕНИЕ: ДРАМА ОЖИДАНИЙ/ ДРАМА ПОНИМАНИЙ

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ТРАНЗИТА И СПОРОВ О НЕМ

Прошедшие в апреле — мае 1989 года первые в СССР альтернативные выборы народных депутатов дали старт политической реформе, переносившей опоры государственной власти от партийных к представительным выборным органам. В том же 1989 году в считанные месяцы — с июня (победа «Солидарности» на выборах в Польше) по декабрь — волна «бархатных революций» буквально смыла коммунистические режимы Центральной Европы, казавшиеся еще за пару лет или даже за несколько месяцев до того совершенно незыблемыми. Опубликованная летом 1989 года статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории» констатировала поражение и крах коммунистической системы как исторического проекта. В феврале — марте 1990 года под напором невиданных по массовости демонстраций руководство СССР вынуждено было исключить из советской Конституции 6-ю статью, закреплявшую монополию коммунистической партии на власть. На прошедших затем выборах в Верховные Советы союзных советских республик в четырех из них (республиках Балтии и Грузии) антикоммунистическая оппозиция получила большинство, а еще в целом ряде других — создала мощные фракции в парламенте. И хотя Советский Союз просуществует еще до конца 1991-го, основным сюжетом этого года станут споры о стратегии перехода к рынку, о границах суверенитета различных его территорий и фактический демонтаж старых структур власти. Потому именно 1989–1990 годы можно

и следует считать эпохой антикоммунистической революции, положившей конец этому социальному проекту. Этот же период стал и подлинным апогеем надежд и ожиданий, связанных с относительно бескровным, почти волшебным крушением коммунизма. Судьба этих ожиданий, равно как народов и стран, их испытавших, в течение тридцати последовавших лет и составляет главный предмет этой книги.

Три периода посткоммунизма и три эпохи его осмысления

За прошедшие тридцать лет изучение посткоммунизма — политической, социальной и экономической эволюции бывших коммунистических стран — сложилось в целую сферу гуманитарных знаний. Еще более замечательно, что понимание природы транзита за это время пережило несколько этапов глубокого переосмысления, сменявших друг друга по мере того, как менялась историческая картина посткоммунистической ойкумены.

Первый этап, характерный для 1990-х годов, был в наибольшей степени исполнен рационального оптимизма и веры в реформы как инструмент социальной реконструкции. В полном соответствии с тезисами Фукуямы западная модель либеральной рыночной демократии выглядела единственной мыслимой альтернативой не выдержавшему исторической конкуренции социализму, а потому предполагалось, что все посткоммунистические страны, хотя и с разной скоростью, с разным набором недоделок и ошибок, будут двигаться, в сущности, единственной дорогой строительства социального порядка, аналогичного западному (см. об этом в разделе Ивана Крастева в настоящей книге). Возникла даже особая дисциплина — транзитология, — ставившая своим предметом изучение оптимальных и неоптимальных стратегий этого движения и его закономерностей, выработку рекомендаций

по трансплантации лучших практик. Важнейшей презумпцией этой идеологии была мысль о том, что посткоммунистические общества и элиты, уже имеющие перед глазами образцы эффективно работающих в странах Запада институтов, могут воспользоваться этим багажом, пропустив промежуточные стадии и трансплантировав на национальную почву «зрелые» формы современного либерального капитализма. Эта презумпция формулировалась как «преимущество догоняющего развития»¹.

Однако уже в первой половине 2000-х годов разочарование в предположениях этого подхода вполне обозначилось и было вполне отрефлексировано². С одной стороны, к этому моменту не только страны Восточной Европы, но и все республики бывшего СССР, преодолев трансформационный экономический спад и периоды политической турбулентности, вышли на траекторию экономического роста, обрели более устойчивые правительства и как-то функционирующие политические институты. Однако именно в этот момент стало очевидно, что значительная часть из них не готова и не намерена двигаться в соответствии с теми алгоритмами, которые мыслились как наиболее короткий и правильный способ усвоения институтов и практик либерально-демократической модели. Отказавшись от коммунистической идеологии и допустив идею частной собственности и свободные цены, эти страны между тем не прилагали усилий для установления порядка верховенства закона, ограничивали или стремились

¹ См., например: *Гайдар Е.* Современный экономический рост и догоняющее развитие // *Мировая экономика и международные отношения.* 2003. № 8.

² Знаковыми для этого этапа осмысления посткоммунистического транзита стали, в частности, статья Томаса Карозеса «Конец парадигмы транзита» (*Carothers T.* The end of transition paradigm // *Journal of democracy.* 2002. № 1) и статья Майкла Макфола «Четвертая волна перехода к демократии и диктатуре» (*McFaul M.* The fourth wave of democracy and dictatorship: noncooperative transitions in the post communist world // *World politics.* 2002. P. 212–244).

ограничить политическую конкуренцию и предпочитали зафиксировать и сохранять достигнутые в ходе борьбы и противостояний 1990-х — пусть и неоптимальные — политические равновесия, нежели экспериментировать с ними во имя целей «правильных» реформ.

Этот этап осмысления посткоммунистического транзита можно назвать нормативистским. Посткоммунистические страны были поделены на «отличников», которые продемонстрировали впечатляющий прогресс в продвижении к стандартам западной модели, и «отстающих», не сумевших воспользоваться предложенным чертежом и застрявших на полдороге или даже обратившихся вспять (среди последних числились в основном республики бывшего СССР). Исследователи преимущественно были заняты поиском ответа на вопрос «почему у одних стран получилось, а у других не получилось?» и осмыслением того, где и кем были совершены ошибки и чего не хватило сошедшим с рельсов вестернизации обществам и элитам (ср. характерное заглавие книги Стивена Фиша «Democracy derailed in Russia: The failure of open politics»¹).

Однако через десять с небольшим лет, в конце 2010-х годов, картина еще раз существенным образом изменилась. Если 2000-е годы для большинства посткоммунистических стран Евразии были эпохой экономических успехов, связанных с возможностями восстановительного роста, благоприятной мировой конъюнктурой и прогрессом глобализации, то 2010-е годы, наоборот, стали периодом, когда эти благоприятные факторы перестали действовать или заметно ослабли (средние темпы роста центральноевропейских и постсоветских стран замедлились с 5,7% в 2000-х до 2,6% в следующем десятилетии). К концу 2010-х годов большинство стран и территорий, которые 10–15 лет назад считались «отличниками»

¹ *Fish M.S. Democracy derailed in Russia: The failure of open politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.*

в продвижении к западной модели, либо оказались захвачены реверсивным трендом — по крайней мере частичным отказом от идеалов либеральной демократии (Венгрия, Польша), либо погрузились в глубокую фрустрацию и resentment (Болгария, Прибалтика, Восточная Германия). Несмотря на успешную институциональную интеграцию в Большую Европу, их население ощущает себя ее глубокой периферией, переживает мощный отток рабочей силы, в особенности молодых и перспективных когорт, и не располагает ресурсами для экономического рывка, притом что уровень жизни остается здесь на порядок ниже, чем в «Европе первого сорта».

С другой стороны, многие из тех стран, которые 10 лет назад были признаны «двоечниками» транзита и стали объектом сурового анализа, вскрывающего причины их неудач, вовсе не склонны «исправлять ошибки» и считать себя «отстающими», а, наоборот, мыслят себя в роли вполне состоятельных примеров альтернативной модели «нелиберального капитализма», критически настроены ко многим аспектам западного уклада и не рассматривают либеральную демократию как перспективную цель и образец. Через тридцать лет после ошеломительного краха «коммунистической альтернативы» и «конца истории» конкуренция моделей социально-политического развития вновь оказалась — по крайней мере отчасти — на повестке дня, хотя теперь это «соревнование» не между социализмом и капитализмом, а между либеральным капитализмом и капитализмом не- или даже антилиберальным.

Эта новая картина отдаленных последствий краха коммунизма заставляет нас существенно переосмыслить события 30-летней давности. Специфика изучения событий новейшей истории состоит в том, что по мере того, как мы удаляемся от исторического события и узнаем его все более отдаленные последствия, меняется и наше представление о самом этом событии — о значимости и взаимосвязи тех или иных

факторов и обстоятельств. Предлагая своеобразный срез современного понимания уроков транзита и посткоммунистического тридцатилетия, настоящая книга представляет читателю взгляды, мнения и интерпретации этой новой, третьей, стадии его переосмысления и пытается ответить на круг поставленных перед нами третьим десятилетием транзита новых вопросов.

ДРАМА ОЖИДАНИЙ: ДЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕССИМИЗМА

Как уже было сказано, поразительным образом именно те, кто 10–15 лет назад считались «лучшими учениками», прекрасно усвоившими уроки антикоммунизма, и в наибольшей степени продвинулись в адаптации и усвоении институтов и правил либеральной демократии и рыночной экономики — страны Центральной и Восточной Европы, — на третьем десятилетии транзита оказались охвачены глубоким ресентиментом. Этот ресентимент где-то проявляет себя в формах социальной депрессии, а где-то принял форму настоящего электорального восстания против либерального европейского мейнстрима, что можно наблюдать не только в Польше или Венгрии, но и в Восточной Германии, голосящей за левые и ультраправые партии. При этом лежащие на поверхности гипотезы — обращение к экономическим факторам или попытки объяснения этого поворота «зависимостью от прошлого», незавершенным ценностным переходом, — хотя и небеспочвенны, но выглядят недостаточно убедительно.

Иван Крастев в своей теории исчерпанной повестки имитации обращается к пласту социальных реакций жителей Центральной и Восточной Европы, связанных не с коммунистическим прошлым как таковым, но именно с ожиданиями и опытом транзита. В этой перспективе нынешний кризис

либеральной демократии и resentment Центральной Европы выглядят результатом не неудачи, а скорее успеха транзита: например, ВВП Польши утроился по сравнению с коммунистическим временем, неравенство сокращается. Корни resentment следует искать в ожиданиях и предположениях 1989 года: знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы объявила не только конец коммунизма, но и конец конкуренции социально-политических проектов и безальтернативность либеральной западной модели. Соответственно, все, что нужно было делать, это по возможности точно имитировать Западную Европу в своих национальных границах. При этом, с одной стороны, уровень и качество жизни в Центральной Европе так и не достигли уровня Запада, с другой — приблизиться к ним можно было, не дожидаясь плодов имитации в своей стране, но сразу переехав на Запад. В результате около 25 млн человек просто уехало из Восточной Европы в Западную. И наконец, стратегия имитации неизбежно вызывает напряжение между имитирующим и имитируемым, пишет Иван Крастев, и, как это бывает в среде эмигрантов, во втором поколении возникает спрос на идентичность, а повестка имитации выглядит ущербной и бесперспективной. Имитационная модель транзита недооценила психологическую и социальную потребность иметь альтернативу и выбор, именно поэтому столь influential в свое время статья Фукуямы была в следующей эпохе подвергнута столь ожесточенной критике, а промежуточные успехи имитации выглядят для восточноевропейского общества свидетельством не столько социальных достижений, сколько социальной неполноценности.

Если предметом анализа Ивана Крастева стали массовые ожидания и массовые фрустрации жителей Восточной Европы, то Андрей Мельвиль и Георгий Сатаров обращаются к теоретическим ожиданиям элит, политиков и социальных исследователей, то есть обращаются от драмы ожиданий к драме пониманий. Статья Георгия Сатарова — в 1990-е годы

политического советника президента Ельцина — посвящена тем лакунам социальных знаний, которые обнаруживались по мере того, как предположения и ожидания по поводу динамики и траекторий транзита стали все больше расходиться с реальностью. В основе этих ожиданий лежали убеждения «высокого модернизма», т. е. чрезмерная и ничем не подтвержденная вера в управляемость социальных процессов. В основе проектной деятельности реформаторов при осуществлении транзита лежал классический легизм — представление, что правильные законы формируют правильные практики, и понимание институтов как результата действия писаных норм. Именно проблемы транзита на втором этапе его осмысления стали стимулом для широкой дискуссии о формальных институтах, об их способности менять реальные практики, о подрывном действии неформальных практик, меняющих реальное содержание и функционал писаных правил. Альтернативный «высокому модернизму» подход базируется на принципе, сформулированном чилийскими биологами Умберто Матурана и Франсиско Варела: «Внешние воздействия на живую систему неинструктивны». Иными словами, очень сложные системы «реагируют на внешние воздействия в соответствии со своим внутренним устройством», пишет Георгий Сатаров.

Впрочем, доминирующее сегодня разочарование в имитационных стратегиях не стоит абсолютизировать. Отметим справедливости ради, что, хотя во многих случаях попытки трансплантации, адаптации и имитации приводили к результатам далеким от желаемых, заимствования и копирования играют огромную роль в современном социальном развитии и многие страны добивались значительных успехов, используя эти стратегии. С другой стороны, там, где имитация не удавалась или отвергалась, фактические институциональные решения выглядят, как правило, довольно далекими от оптимальных. Так или иначе, неудачи транзита и «транзитологии»

стали своего рода трамплином в развитии социального знания, и прежде всего в обсуждениях проблем взаимодействия формальных институтов и неформальных практик, а также границ и возможностей социального конструирования.

Андрей Мельвиль, продолжая методологический *sturm und drang* «опыта непониманий» и ложных теоретических ожиданий, выделил пять неоправдавшихся предположений социальной мысли начала 1990-х годов. Во-первых, «демократизация без предпосылок» — представление, что структурные ограничения не так важны, как выбор акторами правильных стратегий, и что демократизация возможна в силу только того факта, что старые структуры насилия рухнули под влиянием тех или иных обстоятельств, создав условия для «плюрализма по умолчанию». Сегодня, по итогам тридцати лет, мы видим сложную картину, где просматриваются как успехи «стратегий акторов», так и «реванш структур» (в частности, в примерах «авторитарного отката»). Вторым теоретическим уроком стала проблематизация основной гипотезы модернизации — представление о росте спроса на демократию по мере формирования ее экономических предпосылок. Феномен экономического роста и роста благосостояния, не порождающий спроса на демократию, еще требует своего осмысления, равно как и реинтерпретации тех условий и порогов, при которых рост благосостояния все же этот спрос формирует.

Еще одно ожидание связано с верой в значимость «правильного институционального дизайна» как ключа к успеху. Продолжая линию рассуждений, намеченную Георгием Сатаровым, Андрей Мельвиль отмечает два вывода, вытекающих из анализа посткоммунистического опыта. С одной стороны, попытки трансплантировать «лучшие образцы» могут оборачиваться созданием «субститутов» вместо институтов, с другой — вполне эффективным может оказаться использование паллиативных, транзитных институтов, не соответствующих

лучшим образцам, но работающих (эта логика прямо противоположна логике «перескакивания» и заимствования «лучших образцов», речь о которой шла выше). Действительно, два эти открытия, взаимно дополняя друг друга, продвигают нас дальше в том, что можно назвать «теорией заимствования». С одной стороны, попытка копирования «образцов» наталкивается на сопротивление сопутствующих ограничителей (проблема комплементарности институтов) и в результате может вести к дисфункции института. В то же время противоположная стратегия, учитывающая сопутствующие ограничители, позволяет адаптировать функционал института к фактическим условиям и их ограничениям. Практика паллиативных институтов (*second-best institutions*) в последние 15 лет широко обсуждалась применительно к проблемам экономической политики в странах с переходными или развивающимися экономиками (см. работы Дени Родрика¹), но гораздо реже — в применении к проблемам политического развития.

Четвертая проблема — это проблема одновременности реформ и состоятельности государства, подчеркивает Андрей Мельвиль. В целом наличие эффективного государства должно предшествовать успешным либеральным реформам: либерализация требует эффективного правопорядка, в противном случае открытые ею возможности будут «приватизированы» узкими группами интересов. Однако борьба за состоятельность государства оборачивается подчас формированием таких институтов, которые не способствуют, а эффективно препятствуют реформам. Они либо оказываются слишком ригидны и репрессивны, либо формируют описанную Джоэлом Хеллманом ловушку «ранних победителей», не заинтересованных в продолжении реформ².

¹ *Rodrik D. Second-best institutions // American economic review. 2008. № 2.*

² *Hellman J. Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions // World Politics. 1998. Vol. 50. № 2. P. 203–234.*

И наконец, пятое ложное ожидание имело мощный эмоциональный фундамент: это характерное для «эпохи 1989 года» предположение, что авторитаризм остался в прошлом, пишет Андрей Мельвиль. Теории предполагали возможность реверса, но лишь в качестве временных эксцессов; реальность же первых десятилетий XXI века выглядит обескураживающей. Авторитаризмы не только не остались в прошлом и на обочине цивилизации, но, наоборот, продемонстрировали способность к адаптации и разнообразию мутаций и подтверждают свою социальную востребованность. Место модной в конце XX века «сравнительной демократизации» (*comparative democratization*) в последние 10–15 лет все более уверенно занимает сравнительное изучение авторитаризмов (*comparative authoritarianism*), которые демонстрируют пока способность справиться с успехами модернизации и глобализации, с вызовами информационной эпохи и бумом социальных сетей.

Вполне продемонстрированный в первых трех разделах книги и доминирующий сегодня среди интеллектуалов, политиков и исследователей «трансформационный пессимизм» сам стал предметом рефлексии в тексте Владимира Гельмана. Этот «пессимистический консенсус» относительно итогов транзита заставляет исследователей в поисках его объяснений фокусироваться на структурных факторах, которые выглядят долгосрочными и устойчивыми. В результате надежды на смену тенденций отодвигаются в неопределенное будущее и связываются со сменой поколений, последствиями дальнейшего экономического роста. Однако весьма похожий взгляд на вещи, отмечает профессор Гельман, господствовал в суждениях политологов и социологов 1970-х годов: они точно так же сосредотачивались на структурных факторах и относили возможные изменения в социалистическом блоке в неопределенное и отдаленное будущее, не видя никаких предпосылок к ним в настоящем. Иными словами, когда ученые

обсуждают сложившийся статус-кво, им свойственно апеллировать к структурным факторам, но когда реальные изменения начинаются и оказываются, как всегда, неожиданными и непредвиденными, аналитики вынуждены сосредоточиться на акторах — агентах изменений, которых они рассматривают в качестве триггеров тех изменений, которые не были предсказаны на основе анализа структурных факторов. Именно такие стратегии, фокусирующиеся на роли акторов, господствовали в описаниях событий 1980–1990-х годов в эпоху транзитологического оптимизма. Однако, предполагает Владимир Гельман, ограничения для демократизации на постсоветском пространстве, которые сегодня выглядят структурно обусловленными и фундаментальными, могут в большей степени оказаться следствием влияния акторов, чем это считается в рамках «пессимистического консенсуса». Именно акторам принадлежит в том числе существенная роль в конструировании того «образа прошлого», который заставляет нас приписывать больший вес одним структурным факторам в ущерб другим. Задача сегодня — вернуть действия политических игроков в центр нашего анализа, резюмирует Владимир Гельман.

Дэниэл Трейсман в заключительном разделе первой части атакует «пессимистический консенсус» с сугубо позитивистских позиций. В двух знаменитых статьях, написанных им совместно с Андреем Шляйфером (2004, 2014), авторы настаивают — вопреки скептикам и критикам — на относительной «нормальности» посткоммунистических траекторий России и других бывших стран социализма¹. И в настоящей книге Дэниэл Трейсман не отступает от этой линии. Задача, стоявшая перед коммунистическими странами, заключалась в том, чтобы преодолеть макроэкономический кризис, поразивший социалистические экономики, провести структурную

¹ Шлейфер А., Трейсман Д. Нормальная страна // Россия в глобальной политике. 2004. № 2; Shleifer A., Treisman D. Normal countries: the east 25 years after communism // Foreign Affairs. 2014. Т. 93. Р. 92.

перестройку, встроиться в глобальные рынки и «догнать» Запад по уровню развития и жизни. Решение и первой, и второй задачи заняло больше времени, чем предполагалось, но они тем не менее были решены. По уровню инфляции, уровню безработицы после трансформационного всплеска 1990-х мы наблюдаем конвергенцию показателей посткоммунистических и развитых стран, происходит постепенная конвергенция и в структуре экономик. Так или иначе была решена задача интеграции в мировые рынки, и в 2000-х годах посткоммунистические страны пережили период бурного роста и значительной модернизации экономик.

Задача, которая не была решена, — это задача «догнать Запад». Однако Россия и Восточная Европа отставали от Запада и в докоммунистическом периоде. Чтобы преодолеть это историческое отставание, их экономикам необходимо было вырасти на 150–200% за десять лет. Однако такие темпы роста наблюдаются только у бедных стран; посткоммунистические страны росли темпами даже несколько превышающими обычные для стран со средним доходом, но недостаточными для преодоления разрыва, сформировавшегося еще в конце XIX века. Таким образом, корни сегодняшних разочарований итогами транзита следует искать преимущественно в завышенных и нереалистичных ожиданиях конца 1980-х — начала 1990-х.

Последнее замечание профессора Трейсмана, впрочем, по-новому ставит проблему итогов транзита. Действительно, если ориентироваться на оценки и расчеты Проекта Ангуса Мэдисона, в начале XX века ВВП на душу населения в России составлял 38% от среднедушевого уровня 12 наиболее развитых стран Европы, в Польше соответственно 48%, а в целом по 7 странам Восточной Европы (Албания, Болгария, Румыния, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша) — 27%. В период наивысшего расцвета социализма (с 1950 по 1972 год) это соотношение составило для СССР 53%, для Польши — 44% и для 7 стран Восточной Европы — 32%; во второй половине

2000-х годов ВВП на душу населения в России составлял 39% от уровня Е-12, в Польше — 46% и в 7 странах Восточной Европы — 30%¹. Из этих цифр видно, что Восточная Европа и Россия оказались примерно в такой же дистанции по отношению к развитым странам, в которой находились за сто лет до этого. При этом в апогее социализма Восточная Европа находилась примерно на том же уровне развития по отношению к передовой Европе, а Советский Союз сократил свое отставание. Получается, что ни социалистический эксперимент, ни возвращение к рыночной экономике не влияли кардинальным образом на темпы развития «второй Европы». Во всяком случае, провал задачи «догнать Запад» выглядит вполне удовлетворительным объяснением массового разочарования посткоммунистических стран — ведь именно перспектива конвергенции по уровню доходов была одним из основных факторов массовой антикоммунистической мобилизации в конце 1980-х годов.

Это обстоятельство, в свою очередь, обращает нас и к другому аспекту, оставленному профессором Трейсманом в стороне, — к вопросу о динамике политических режимов посткоммунистических стран. Если первые 10–15 лет транзита поставили под сомнение стратегию трансплантации и гипотезу «преимуществ догоняющего развития», выявив ограниченную «инструктивность» институционального дизайна в условиях социальной трансформации, то следующие 15 лет проблематизировали еще одно фундаментальное предположение начала 1990-х — о взаимосвязи устойчивого экономического роста и «правильных», т. е. либеральных, институтов в экономической и политической сфере. Разрыв этой взаимосвязи, казавшейся тридцать лет назад очевидной и непреложной, и стал причиной новой конкуренции социальных проектов. Если либеральные институты не позволяют сократить

¹ См.: Maddison Historical Statistics. Maddison Database 2010; <https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/releases>.

разрыв в уровне экономического развития, а нелиберальные позволяют его сохранять, не увеличивая, то позиции сторонников нелиберального сценария политического и социального развития существенно укрепляются, что мы и видим в третьем десятилетии посткоммунистической истории.

ДРАМА ТИПОЛОГИЙ

Каждое посткоммунистическое десятилетие приносит нам новые и часто непредвиденные знания о характере и динамике длительных траекторий посткоммунистических обществ и, соответственно, вынуждает переосмысливать типологию транзитов в контексте этого нового знания. Если на предыдущем этапе исследователи имели дело с классификацией транзитов, которые выглядели как переход от тоталитарных коммунистических режимов к новым политическим равновесиям (авторитаризм, демократия или промежуточные режимы), то теперь объяснительные модели вынуждены охватывать не только этот переход, но и последующую динамику режимов, сложившихся по итогам первого и второго посткоммунистических десятилетий. Так, например, Киргизия в начале 2000-х годов выглядела центральноазиатской деспотией, похожей на соседние страны, но в последние 15 лет демонстрирует совершенно иную динамику, а Россия, выглядевшая к началу 2000-х довольно конкурентным некомунистическим режимом, эволюционировала в сторону центральноазиатских авторитарных гегемоний.

Попытка синтезировать в общей таксономической модели типы транзитов и траектории последующих изменений находится в центре фундаментальной концепции Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича, резюме которой представлено ее авторами в настоящем томе¹. Концентрация внимания на

¹ См.: *Magyar B. Stubborn Structures: Reconceptualizing Post-Communist Regimes*. Central European University Press, 2019.

политических институтах ведет к упрощенным типологиям, которые не описывают всего спектра посткоммунистических траекторий, считают авторы. Помимо традиционной оси «демократия — авторитаризм», они вводят еще одну, «вэберианскую», ось, концептуализирующую типы устойчивых социальных структур (*stubborn structures*), которые характеризуют социальный уклад различных профессионально-исторических ареалов Евразии и различаются по уровню патрональности, т. е. по степени влияния в обществе неформальных иерархических сетей патронажа. Это позволяет выстроить более сложную типологию, где диктаторские режимы будут представлены двумя типами: институциональные (бюрократические) диктатуры, как Китай, и патрональные, распространенные, к примеру, в Центральной Азии, — а наряду с либеральными демократиями будут идентифицированы патрональные демократии (Украина и Румыния). Кроме того, авторы различают режимы, в которых патрональные иерархии охватывают исключительно политическую сферу или и политическую, и экономическую.

Эта типология позволяет увидеть общее и различное посткоммунистических режимов Евразии в разрезе этих проекций и проследить их нелинейные траектории на протяжении трех десятилетий. Так, например, Эстония, Польша и Венгрия осуществили успешный переход от коммунистической диктатуры к либеральной демократии на первом этапе. Однако в отличие от Эстонии Польша совершила затем движение в обратном направлении — к консервативной автократии, а Венгрия — в направлении патрональной демократии, а затем — и патрональной автократии, считают авторы. Другая траектория транзита и посттранзита характерна для таких стран, как Румыния, Македония, Украина, которые никогда не были либеральными демократиями: совершив переход сразу к патрональной демократии, они оказались в контуре циклической динамики, которую определяют стремление тех

или иных групп закрепить свое господство и сопротивление этим попыткам. Однако «цветные революции», периодически случающиеся здесь, не разрушают самого принципа патрональности, характеризующего устойчивые социальные структуры. Россия после периода «олигархической анархии» трансформировалась в патрональную автократию. А в таких странах, как Узбекистан, коммунистическая диктатура трансформировалась непосредственно в патрональную автократию.

Раздел Балинта Мадьяра и Балинта Мадловича примыкает к важному и бурно развивающемуся направлению современных исследований, которые рассматривают динамику переходных и промежуточных режимов сквозь призму взаимодействия заимствованных институтов рынка и электральной демократии и укорененных неформальных моделей социальной организации. К этому направлению принадлежит значительный пласт исследований политической роли неопатримониализма в африканских и постсоветских странах, а также концепция «патрональной политики» на постсоветском пространстве Генри Хейла, одного из авторов настоящего сборника¹.

Тему устойчивых структур, позволяющих понять генезис постсоветских политий и их динамику на протяжении 30 лет, продолжает и наша статья в настоящей книге. Наш базовый аргумент состоит в том, что фактическая либерализация советского режима, происходившая в конце 1980-х годов, вела (вопреки ожиданиям) к совершенно разным последствиям в разных частях Советского Союза, уровень

¹ См., например: *Pitcher A., Moran M.H., Johnston M. Rethinking patrimonialism and neopatrimonialism in Africa // African Studies Review. 2009. Vol. 52. № 1. P. 125–156; Фисун А.А. К переосмыслению постсоветской политики: неопатримониальная интерпретация // Политическая концептология. 2010. № 4. P. 158–187; Laruelle M. Discussing neopatrimonialism and patronal presidentialism in the Central Asian context // Demokratizatsiya. 2012. № 20 (4). P. 301; Hale H.E. Patronal politics: Eurasian regime dynamics in comparative perspective. Cambridge University Press, 2014.*

социально-экономического развития и характер социальных укладов которых серьезно отличались друг от друга, и запускала различные комбинации политических и социальных процессов. Либерализация открыла дорогу трем социальным процессам: массовой демократической мобилизации (прозападной по идеологии), массовой националистической мобилизации и элитному сепаратизму (стремлению региональных элит к политической самостоятельности и контролю над местными ресурсами). Различные конstellации веса и значимости трех этих факторов формировали различные траектории перехода к посткоммунизму и определяли лицо конкретной формирующейся политики.

Выборы в Верховные Советы союзных республик, прошедшие в 1990 году еще в рамках СССР, сыграли роль учредительных для постсоветских политий, а их результаты в большинстве случаев довольно точно предсказывали дальнейшие политические траектории постсоветских стран. Там, где оппозиция уверенно выиграла выборы (Прибалтика), происходил успешный переход к либеральной модели, в тех республиках, где оппозиция не сумела оказать значимого влияния на исход выборов, либо старые элиты сохраняли доминирование и авторитарные структуры управления, либо эти структуры быстро восстанавливались после трансформационного кризиса. И наконец, те республики, где оппозиция сумела оказать существенное влияние на исход выборов, но не имела устойчивого большинства, составляют и сегодня пул полудемократий — «конкурентных олигархий» (Армения, Грузия, Молдова, Украина).

Этот взгляд позволяет, с одной стороны, видеть долгосрочные ограничения и устойчивость тех базовых балансов сил, которые формируют конкретную политику, а с другой стороны — обращают наше внимание на условия изменений. Формирующий характер выборов 1990 года связан с тем, что они продемонстрировали значимость и место электоральных

процессов в рамках той или иной политики: там, где оппозиции удалось провести политическую мобилизацию и конвертировать ее в голоса избирателей, институт выборов утверждался как ключевой фактор политической динамики; там, где это не удавалось, выборы превращались в инструмент авторитарной легитимации. Впрочем, борьба вокруг этого вопроса возобновилась уже в начале 2000-х годов и проявила себя в попытках все более широких манипуляций выборными процедурами, с одной стороны, и новых протестных мобилизациях против таких манипуляций — с другой. Там, где протесты были успешны и выливались в так называемые «цветные революции», сохранялся (Грузия 2003, Украина 2004, Молдова 2009, Армения 2018) или устанавливался (Киргизия 2005) конкурентный режим; там, где они терпели поражение (Азербайджан 2003 и 2005, Армения 2008, Белоруссия 2006 и 2010, Россия 2012), мы наблюдаем консолидацию авторитаризма и деградацию электоральных процедур.

Линию интеллектуальной критики прошлых представлений о транзите продолжает раздел Андрея Рябова, в которой выделены несколько факторов, сыгравших, по мнению автора, важную роль в траекториях стран Восточной Европы и бывшего СССР. Во-первых, это характер делегитимации коммунистического режима. В странах Центральной Европы и Балтии коммунистический режим воспринимался как привнесенный и сохранялась память об опыте сопротивления ему (восстания 1953, 1956 годов в ГДР и Венгрии, 1968 году — в Чехословакии, опыт «Солидарности» в Польше). На этом фундаменте и формировалась альтернативная, национально-демократическая система ценностей. В СССР легитимность режима базировалась на вполне укорененном представлении о его эффективности. Политика гласности и кризис 1980-х подорвали это основание, выдвинув тезис о большей эффективности либерально-демократической модели, который и стал инструментом делегитимации режима.

Однако в результате демократические и либеральные установки приобретали здесь не ценностный, а инструментальный характер. И когда в процессе трансформации связанные с ним издержки привели к девальоризации этих представлений, авторитарные модели вновь стали осознаваться как вполне приемлемые, если связанный с ними социально-экономический порядок позволял в какой-то степени решать проблемы «общего блага» и роста уровня жизни. Это и стало основанием ценностного «патерналистского ренессанса».

Второй фактор, по мнению Андрея Рябова, связан с характером приватизации. На постсоветском пространстве были реализованы две противоположные стратегии. Первая — ускоренная приватизация крупных активов, цели которой были не столько экономическими, сколько политическими: создание класса собственников, способных не допустить реставрацию. Вторая, наоборот, была направлена на сохранение этатистского характера постсоветских экономик и подразумевала сохранение национальных активов в государственной собственности. Однако в политэкономическом смысле обе они привели к одному и тому же результату: формированию института «власти-собственности», который начинает форматировать политический процесс и адаптирует правила экономического обмена к целям перераспределения ренты. Борьба за ренту ведет к тому, что политические процессы обретают циклический характер, т. е. превращаются в борьбу не между различными проектами будущего, а между разными группами за управление рентами, и ведут в итоге к «дефициту развития».

Новые типологии транзитов и посткоммунистических траекторий, основанные на достаточно продолжительном периоде наблюдений, фокусируются, как было пронизательно отмечено Владимиром Гельманом, преимущественно на долгосрочных структурных факторах и, более того, стремясь преодолеть легизм и формализм прежних подходов, обращаются к анализу устойчивых неформальных моделей социальных

взаимодействий, деформирующих и адаптирующих формальные институты. Кроме того, в отличие от типологий предыдущего поколения, нацеленных на объяснение «успешных» и «неуспешных» кейсов транзита, новые типологии стремятся объяснить по меньшей мере неоднозначную или даже противоречивую политическую динамику стран на протяжении всего посткоммунистического периода.

НОМО SOVETICUS — НОМО POST-SOVETICUS

Еще одна принципиальная проблема, которую принесло с собой третье десятилетие посткоммунизма, связана с переосмыслением самого фактора «зависимости от прошлого» (*path dependence*). Объяснять те или иные проблемы и эффекты посткоммунистического общества ссылками на коммунистическое прошлое — на влияние социальных структур, ценностных стереотипов, институциональных практик, которые утверждались и воспитывались коммунистической системой, — казалось совершенно естественным в первом и даже во втором десятилетиях транзита. Сегодня же все острее встает вопрос: насколько длинны «тени коммунизма» и как долго можно к ним адресоваться, если практически все нынешнее население рабочих возрастов посткоммунистических стран либо вовсе не имело опыта социализации при коммунистическом режиме, либо застало этот режим лишь слегка и в периоде полураспада?

Поэтому, несмотря на неутихающий интерес к проблеме «зависимости от прошлого», сама она все более становится объектом проблематизации и деконструкции, а альтернативные гипотезы, связывающие проблемы посткоммунистических обществ не с опытом коммунизма, а с «травмами» самого транзита, неадекватными ожиданиями (как в разделах Ивана Крастева и Дэниэла Трейсмана в настоящей книге) или даже со структурными факторами, уходящими в досоветское

прошлое (как в разделе Мадьяра и Мадловича в этой книге или в работе Ланкиной, Либмана и Обыденковой, посвященной тому, как уровень образования территорий царской России способствовал утверждению большевистского режима¹), становятся все более популярны.

Концепция Юрия Левады и его соратников, впервые сформулированная в книге «Советский простой человек»², — одна из первых попыток описать и теоретизировать «наследие коммунизма» в социологических терминах. Несколько волн исследований, предпринятых группой Юрия Левады на протяжении трех десятилетий, продлили жизнь «простого советского человека»: исследование обнаружило, что поведенческие модели и ценностные структуры «простого советского человека» не распадаются под влиянием новой институциональной среды или распадаются и меняются гораздо медленнее, чем это ожидалось; наиболее же радикальный вывод состоит в том, что именно «живучесть» и адаптивность авторитарных институтов способствует их регенерации в России. Эта точка зрения на проблему «советского наследия» и представлена в разделе директора «Левада-Центра» Льва Гудкова в настоящей книге и отражена в самом ее заглавии: «„Советский человек“ сквозь все режимы: тридцать лет исследовательского проекта».

По мысли Льва Гудкова, сохранившиеся после крушения советской системы рудиментарные тоталитарные институты (политическая полиция, суд, система образования), встроенные в постсоветский институциональный дизайн, способствовали воспроизводству тех «слоев коллективной

¹ *Lankina T.V., Libman A., Obydenkova A.* Appropriation and subversion: pre-communist literacy, communist party saturation, and postcommunist democratic outcomes // *World politics*. 2016. Vol. 68. № 2. P. 229–274.

² *Голов А. А., Гражданкин А. И., Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Зоркая Н. А., Левада Ю. А. (руководитель), Левинсон А. Г., Седов Л. А.* Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М., 1993.

памяти», которые не исчезли, но находились в спящем состоянии и в результате — воспроизводили «советского человека». Главные свойства данного собирательного типа определяются тем, что это человек закрытого, мобилизационного общества с его принудительными идентичностями, приспособившийся или приспособабливающийся к уравнительным иерархиям; человек, которому к тому же свойственен — в его постсоветской реинкарнации — имперский компенсаторный национализм, заместивший мессианскую коммунистическую идеологию. При этом многочисленные признаки и проявления социальной модернизации в России последних десятилетий носят, по мнению Гудкова, преимущественно поверхностный, «потребительский» характер, не затрагивая ценностной системы и фундаментальных поведенческих стереотипов, а «установки молодых и более образованных горожан на изменения были характеристикой не процесса, а определенной фазы социализации», т. е. являются не поколенческим, а возрастным феноменом. Формирование современного российского авторитаризма, пишет Гудков, «стало возможным не столько из-за потенциала регенерации тоталитарных институтов, сколько в отсутствие сопротивления этим усилиям со стороны общества, политическая культура которого пронизана массовым нежеланием участвовать в общественных делах, отказом от ответственности, недоверием».

Эта точка зрения, как и в целом концепция «человека советского» и его судьбы в посткоммунистическом тридцатилетии, стали в последнее время предметом широкой полемики, грани которой представлены в третьей части настоящей книги¹. Сэмюэл Грин в своем разделе обсуждает концепцию

¹ В рамках проведенной в декабре 2019 года в «Горбачев-центре» конференции «Тридцать лет постсоветской Европы» этой полемике был посвящен специальный круглый стол, в котором приняли участие и многие авторы настоящего издания.

и судьбу «советского человека» в контексте широкого круга социологических исследований посткоммунистических обществ и привнесенных ими новых знаний о «постсоветском человеке». В русле тех тенденций, о которых говорилось выше, он предлагает рассматривать лояльность «постсоветского человека» постсоветскому авторитаризму, не ограничиваясь анализом собственно его политических предпочтений и паттернов политического поведения (сферой политического), но обращаясь ко всей совокупности его социальных навыков и взаимодействий. И в результате приходит к выводу, что ключевой концепт левадовской теории — характеризующая советского человека склонность к «пассивной адаптации» — далеко не полно их описывает. Напротив, основные стратегии социальной активности постсоветского человека сконцентрированы на «ближнем круге» — той среде ежедневных взаимодействий, в которой он находит поддержку и способы достижения личных целей. Именно с этим уровнем взаимодействий («на расстоянии вытянутой руки») связываются представления о социальном и индивидуальном успехе, в то время как сфера политического, широких горизонтальных взаимодействий остается для «постсоветского человека» малозначимой, слабо связанной с его жизнью и интересами и в результате становится сферой «символической политики», не требующей значительной вовлеченности и наполненной преимущественно абстрактными, символическими концептами. Глядя на сферу политического как на периферийную, постсоветский человек в то же время стремится использовать ее инструментально как определенный ресурс в выстраивании социальных стратегий «ближнего круга», поэтому присоединение к символическому политическому большинству, будь то пропутинское или прокрымское большинство, выступает в качестве своего рода социальной «смазки» — дополнительного механизма социализации и «рамки доверия».